

Художник Юрий Анненков вспоминал, в каком виде застал свой дом в Куоккале в 1919-м, после отступления Красной гвардии:

«Обледеленные горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча и еще не стерлись пометки углем: 2 арш. 2 верш., 2 арш. 5 верш., 2 арш. 10 верш. ... Победителем в этом своеобразном чемпионате красногвардейцев оказался пулеметчик Матвей Глушков: он достиг 2 арш. 12 верш в высоту.

Выврнутая с мясом из потолка висячая лапа была втоптана в кучу испражнений...»

И т.п. Такая вот реализация метафоры историка Ключевского, говорившего, что русскому вольнодумцу, разувшись, мало просто уйти из храма — ему надо в храме нагадить. И — неизбежная ассоциация со знаменитым отрывком из «Хаджи-Мурата» о состоянии дагестанского аула после ухода воинства «белого Царя»: «...Дверь и столбы галереи сожжены, и внутренность огажена... фонтан был загажен... Так же была загажена и мечеть...»

Да что ж это за национальная такая привычка!

Впору объявить себя русофобом, пристегнув ради лестной компании графа Толстого, а также замечательного прозаика и безупречного народолюбца Александра Эртеля. Это он говорит Ивану Бунину, а тот согласно приводит его горькие слова: «Социализм?.. Там, где посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто «так себе» и где для сокращения пути на пять саженей проедут на телеге по великодепной ржи, — не барской, а крестьянской, — там может быть Разинщина, Пугачевщина, все, что хочешь, но не социализм. ... Истребление «Вишневых садов» озверелой толпой возмутительно, как убийство».

Ни Эртель, ни тем более Бунин не захотели оправдать этого саморазрушителя. Захотел Александр Блок:

«Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь жиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой».

(Образ, достойный агиток Демьяна Бедного.)

«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок...»

Стоп! А когда палили библиотеку в любезном сердцу Шахматове? Когда по клавишам семейного пианино скакали, любуясь, как они, черные с белым, разлетаются изпод пяток, — тоже за то, что «там насиловали и пороли»?

Это не плод воспаленного воображения. Вот шахматовский старожил рассказывает литературоведу Станиславу Лесневскому: «Когда господа уехали, мы с ребятами картинку таскали из барского дома, картинок там много было... Пианину-то мы еще доломали... Какую пианину разворочали... Бывало, мы ногами по ей прыгали... Маленькие были, ничего не понимали... Знать бы...»

Неужто не знал? Даже он, маленький, не говоря о взрослых? Ведь вспоминает же нынче: «Про Блока мать мне говорила: «Он сам работал, не то что распоряжался...». За что ж так с бариним, у кого не то что не насиловали и не пороли, но кто и «сам работал»?

Старожил, и доживши до старости, не объяснит, не сумеет. Да и зачем, если все еще до порога объяснил и оправдал сам Блок:

«... Не у того барина, так у соседа».

Словом: «Что же вы думали? Что революция — идилия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути?» Так что: «Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон».

После всего этого даже странно, что до сих пор не прошло изумление: почему, зачем в финале поэмы «Двенадцать» Блок поставил в главе красногвардейцев Спасителя? Чему ж удивляться, если святым для него словом

да же записал у себя: к сожалению, Христос».

К сожалению... То есть — ничего не поделаешь. И что тут? Счастливая растерянность художника перед своеволием его собственного создания (по-пушкински: вот, дескать, какую шутку удрала со мною моя Татьяна)? Или безволие и бессилие перед «циклоном»?

Как бы то ни было, с Блоком произошло нечто необратимое. «Непрерыв-

на шапка. Я ему и прочитал.

Через несколько минут он говорил, что там все сплошь красноармейцы...»

Да! Весь зал для него будто наполнился бесечно расплодившимися двенадцатью и именно потому стал ненавистным. Словно с лихвой материализовалась шутка злой Зинаиды Гиппиус: та говорила, что за его революционную поэму Блока следовало бы уплотнить, вселив в его квартиру на Пряжке всю дожину.

(Забавно, как аukaются драма и пошлость. Драматург

Это снова Чуковский, лучше которого о Блоке не писал никто, а тут к тому ж непосредственный отклик, плач по поэту:

«Самое страшное было то, что с Блоком кончилась литература русская. Литература — это работа поколений — ни на минуту не прекращающаяся — сложнейшее взаимоотношение всего печатного с неумирающей в течение столетий массой — и...»

Тут обрыв. Страница дневника недописана.

смерти. Орангутангом душа жить не может».

Увы. Еще как может. Это для Белого смерть Блока — зов «погибнуть или любить». Множество тех, кто придет им обидно на смену, именно после этой смерти, благодаря ей, научится жить орангутангами. Или, скорее, бандарлогами, которые в киплинговой «Книге джунглей» снуют в заброшенном храме не нужной им культуры...

Такая реакция современников, в сущности, не нова. «Мир опустел», — скажет Пушкин, провозжая почивших Наполеона и Байрона. И все же причитания по Блоку имеют свою отличку, сравнимую разве лишь с тем, что Чехов скажет Бунину: « — Вот умрет Толстой, все пойдет к черту!... — Литература? — И литература...»

Значит, не только она. Ожидаемая катастрофа еще сокрушительнее.

Странное дело! Блок торопил катастрофизм, сам стал олицетворением того рокового момента, когда выношенная веками культура готова бросить себя под ноги «грядущему Хаму», а Иисус должен возглавить отряд «скотов, грабителей и убийц». И вот его-то, Блока, такого, как-то он есть, оказывается смертельно страшно утратить.

Не просто как автора прекрасных стихов, возможно, и будущих, — вот уж поистине: «... больше, чем поэт». Но почему так?

«... Сlopала-таки поганая, гнилая матушка Россия как чушка своего поросенка», — сделает Блок предсмертную запись, которая прозвучит сильно и страшно, — но справедливо ли? Вопрос: а сами чушкины «поросята» не участвуют ли в решении своей участи?

Но пойми: несравненное право
Самому выбрать свою
смерть, —

скажет Гумилев, у которого, впрочем, это право насильственно отняли. Да и о цветавском выборе приходится говорить все же условно: слишком могущественны были силы и обстоятельства, толкавшие ее к петле. А Блок? Он, чей выбор, сделанный «Двенадцатью», до очевидности был рожден энергией саморазрушения?

Перед выбором надо склонить голову, понимая, однако: это только в искусстве возможно такое, что даже процесс разрушения может быть неотличим от созидания (а революция может предстать как «творчество»). Ведь что там ни говори, «Двенадцать» — поэма гениальная или, по крайней мере, поэма гения. В жизни, в «первой реальности», где обитаем все мы, этот процесс примитивен и страшен, и руководят им природы соответственно страшные и примитивные.

Что поделаешь, в нашей традиции в самом деле (см. начало статьи) ломать, разрушать, обгаживать. Переменимся ли? Если и да, то не скоро. Но надо хотя бы сознавать это.

Зачем? Как утверждают астрологи (ежели им вообще можно верить), свой гороскоп со всем неминуемо страшным, что нам угрожает, следует знать для того, чтобы с приближением роковых моментов оказаться готовыми к ним. Быть настороже.

Так и тут. Наши гении, даже разрушая и убивая себя, становятся словно бы искупительной жертвой. Оберегают нас зрелищем их собственных трагедий. Тем самым дают силу жить.

Станислав РАССАДИН

КРОВАВЫЙ АВГУСТ, ИЛИ СМЕРТЬ ПОЭТОВ

III. РАЗРУШИТЕЛИ

«творчество» он нарек «революционный циклон»? И вот Иисусу вручается знамя победившего пролетариата:

В очи бьется
Красный флаг.
Раздается мерный шаг.
... Впереди — с кровавым
флагом...
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

Впереди — кого именно? Бандитов, погромщиков, каторжников, чего сам Блок отнюдь не скрывает: «В зубах — цыгарка, примят картуз, на спине б надо бубновый туз! ... Запирайте этажи, нынче будут грабежи!»

Блок «вторично распял Христа», сказал Гумилев, а Бунин вознегодовал, что здесь «какой-то сладкий Иисусик, пляшущий» перед сворой «скотов, грабителей и убийц». Правда, мягкосердечный Волошин, отказавшись поверить, будто Александр Александрович Блок мог всерьез сделать Христа предводителем революционной ватаги, выдвинул дику версию: Христос потому «впереди», что его ведут на расстрел.

Как вскорости поведут Гумилева. Но, ставя его к стенке, вряд ли ему дали в руки красное знамя...

Сам Блок не помог своим толкователям — ни тогдашним, ни будущим. «Однажды Горький, — вспоминает Корней Чуковский, — сказал ему, что считает его поэму сатирой. — Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни. — Сатира? — спросил Блок и задумался. — Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю».

Он не знал даже, хороший или дурной поступок (проступок?) совершил, написавши «Двенадцать». И, встретив в трамвае непримиримую к большевикам Зинаиду Гиппиус, спросил ее: «Вы подадите мне руку?» После чего покорно снес надменный ответ: «Как знакомому подам, но как Блоку нет».

Тем более известны слова, сказанные им Гумилеву в ответ на упрек, что финал «Двенадцати» приклеен искусственно.

«Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тог-

ность внутреннего состояния нарушена, личность кончилась». — Любопытно, что автор этих слов, Пастернак, здесь поставил диагноз совсем не Блоку, скончавшемуся «в своей постели» в августе 1921 года. Это его попытка объяснить, как пришли к самоубийству Цветаева, Маяковский, Есенин, Фадеев.

Тем не менее: «... Когда мы ели суп, — записывает тот же Чуковский, — Блок взял мою ложку и стал есть. Я спросил: не противно? Он сказал: «Нисколько. До войны я был брезглив. После войны — ничего».

И Корней Иванович, нежно любящий Блока, вдруг добавляет с неожиданной жесткостью: «В моем представлении это как-то слилось с «Двенадцатью». Не написал бы «Двенадцать», если бы был брезглив».

Блок видел и чувствовал, что его мир гибнет, что гибель неизбежна. И вот от сознания неизбежности (плюс гипертрофия интеллигентской совестливости, привычка всемерно сочувствовать «униженным и оскорбленным») Блок оторвал от сердца Христа. «К сожалению, с сожалением, отдал Его «младым, незнакомым».

Насколько было велико сожаление, нельзя не догадаться.

Все тот же Чуковский рассказал в мемуарном очерке, как на одном из последних своих выступлений Блок «вдруг заметил в толпе одного неприятного слушателя, который стоял в большой шапке-ушанке» и, внезапно охваченный неприязнью к нему, через силу прочел всего два-три стихотворения. Даже «ушел из залы». Потом, правда, вернулся, но «вместо своих стихов прочел, к великому смущению собравшихся, латинские стихи Шопена...»

Это, напомню, из мемуаров, писанных для советской печати. В дневниковой записи, сделанной «для себя» 3 мая 1921 года, но опубликованной после смерти Чуковского, многое так — однако не все. Какая там шапка-ушанка, невеста с чего раздражившая Блока!

« — Зачем вы это сделали? — спросил Корней Иванович, имея в виду вызывающий переход на латынь. То есть желание быть непонятым.

« — Я заметил там красноармейца вот с этакой звездой



фото Пелагиа АРЕНДИЗЕ

Александр Штейн сочинил пьесу о Блоке, и в первой же ремарке, отражающей полууловный мир сочинения, сказано: по углам блоковской квартиры спят двенадцать. Понятно? («Связь с народом!»)

Что оставалось? Осталось умереть.

Сперва как поэт. «Все звуки прекратились», — скажет он, еще недавно возвавший: «... Дух есть музыка. ... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию!». А сочиняя в альбом поэтессы Анны Радловой шуточные стихи, вышедшие вымученными и тусклыми, заключит их строкой: «... Писать стихи забывший Блок».

«Он ничего не делал — только пел. Через него непрерывной струей шла какая-то бесконечная песня. Двадцать лет с 1898 по 1918. (Оборвавшись, то есть за три года до физической смерти. — Ст. Р.) И потом он остановился — и тотчас же стал умирать. Его песня была его жизнью. Кончилась песня, и кончился он».

Почему? Может, отчаяние заставило бросить перо? Так или иначе, за Чуковского договорил Андрей Белый, блоковский друг и соперник — в поэзии и в страсти к его жене, доходивший до безумной вражды к нему. И для Белого смерть Блока — нечто катастрофическое:

«Эта смерть для меня — роковой часовой бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видался, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня, как орган зрения или слуха; это чувствую теперь. Можно и слепым прожить. Слепые или умирают или просветляются внутренне; вот и стукнуло мне его смертью: пробудись или умри; начнись или кончись».

И встает: «быть или не быть».

Когда, душа, просилась ты
Погибнуть или любить...
Дельвиг

И душа просит: любви или гибели; настоящей человеческой, гуманной жизни, или

Блок А.А. (ум.)

13.09.01